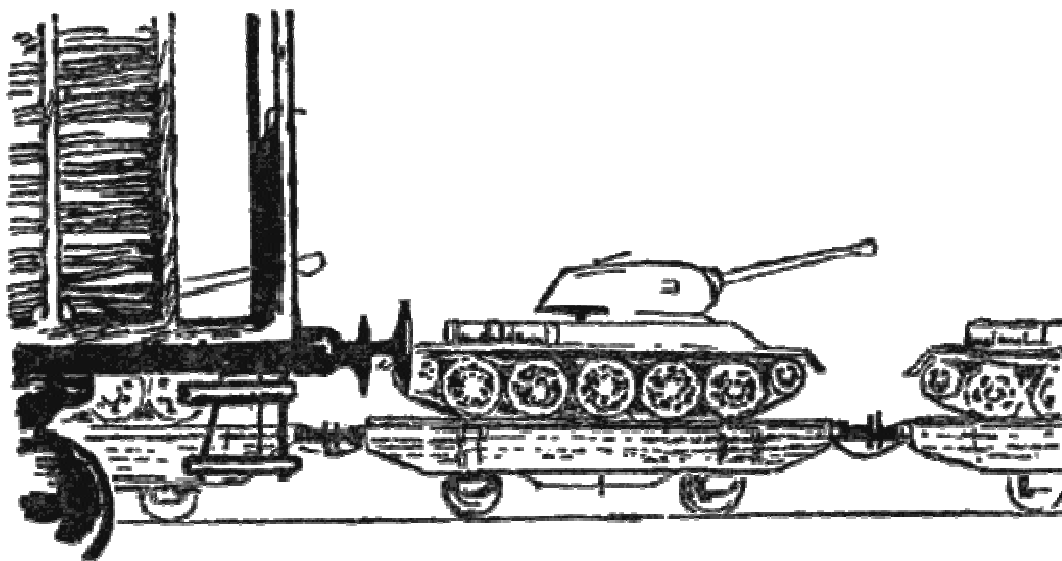


Лев Абрамович Кассиль Огнеопасный груз



Я, ребята, выступать не великий мастер. Тем более, что образование у меня ниже среднего. Грамматику плохо знаю. Но раз уж такое дело и вы меня, ребята, душевно приветствовали, то скажу...

Значит, так. По порядку. Когда вашу местность ещё только начали из-под немцев высвобождать, получаю я с моим напарником, Лёшей Клоковым, в управлении дороги назначение: сопровождать вагон из Москвы. А в вагоне, объясняют, груз чрезвычайной важности, особого назначения и высшей срочности.

— Насчёт состава груза, — говорят, — ты, Севастьянов, чересчур не распространяйся по дороге. Намекай, что, мол, секретно, и всё. А то могут найтись какие-нибудь не вполне сознательные и отцепят тебя на малую скорость. А дело срочное до крайней чрезвычайности. Путёвка у тебя самим товарищем народным комиссаром [Народный комиссар — так в первые годы Советской власти назывались у нас министры...] подписана. Чувствуешь? — говорит.

— Соображаю, — говорю.

Выдали нам, что требуется: тулупы новые, две винтовки, шапки-малахаи, фонари там сигнальные... Ну, словом, все наше обзаведение, как полагается. Вагон наш перегнали с товарной станции на пассажирскую и подцепили на большую скорость к почтовому поезду дальнего следования.

Динь-бом, второй звонок, пассажиры в вагон, провожающие вон, пишите письма, шибко не скучайте, совсем не забывайте, поехали!

— Ну, — говорю я своему Лёше Клокову, — в час добрый, с богом! Груз у нас особенный. Так что ты вникни: глазом моргнуть не могли на дневальстве. Словом, гляди, чтобы все у нас было в цельности и сохранности до последнего. А не то я тебя, Алексей, милый человек, по всем законам военного времени продёрну.

— Да будет вам, Афанасий Гурыч! — Это Алексей мне говорит. — Я и сам соображаю, что за груз. Это вы мне излишне говорите.

Раньше-то от Москвы до вас ехать не столь долго было. На седьмые сутки грузы прибывали. А теперь, конечно, кое-где вкруговую приходится объезжать, тем более что назначение в район военного действия.

Я уже на фронт не раз с эшелоном ходил. И под вагоном при бомбёжке полёживал, и на обстрел напарывался. Но на этот раз дело совсем особое. Груз уж очень интересный!

Вагон дали нам хороший, номер «172-256», товарный. Срок возврата — январь

будущего года. Осмотр последний в августе был. И все это на вагоне обозначено. Площадочка имеется тормозная, чин чином. На площадке той самой мы и ехали. Вагон-то в Москве запечатали под пломбу, чтобы не было разговоров, какой груз.

Дежурили, значит, по очереди с Алексеем. Он дневалит — я в резерве обогреваюсь. Я заступил — он в резервный вагон отдыхать идёт. Так и ехали. Прибыли на пятый день на узловую. А оттуда, значит, нам надо уже поворачивать по своему назначению. Отцепили нас.

Стоим час, два стоим. Ждём целый день. Торчим вторые сутки — не прицепляют. Я уже со всем начальством на станции переругался, до самого грузового диспетчера дошёл. Сидит такой в фуражке, при очках; в помещении жарынь, печка натоплена до нестерпимости, а он ещё воротник поднял. Перед ним на столе телефонная трубка рупором на раздвижке. А из угла, где рупор, его разные голоса вызывают. Это по дорожному телефону-селектору разговор идёт. Только и слышно: «Диспетчер?! Алло, диспетчер! Почему 74/8 не отправляется? Диспетчер, санитарная летучка просится. Принимать, диспетчер?» А он сидит, словно и не слышит, откинулся в кресле и бубнит себе в рупор: «Камень бутовый — три платформы. Кора бересклета — двенадцать тонн, направление-Ставрополь. Скотоволос — три тонны, Краснодар. Пух-перо — тонна с четвертью. Кожсырье — две с половиной». Я своими бумажками шелестеть начал, перед его очками документами помахиваю, печати издали показываю, а читать в подробности не даю. Такой, думаю, бюрократ, суконная душа, не может воспринять, какой я груз везу.

Нет! Куда там... И глядеть не желает, и подцеплять меня отказывается, отправление не даёт, велит очереди ждать. Лешка мой не выдержал.

— Слушай, — говорит, — пойми, груз-то у нас особый, секретный! Не приведи бог, какая воздушная опасность, так вы от нашего вагона сами тут в пух-перо обратитесь.

— Позвольте, — говорит тот, — так вы бы сразу и объявили, что у вас груз огнеопасный. Чего же вы двое суток тянули? Стоят с таким грузом и молчат! Идите скорее, на третьем пути воинский эшелон составляется, через час отправление даю. Если начальник спорить не будет, я ваш поставлю.

Бежим на третий путь. Я Алёше Клокову говорю:

— Слушай, Клоков, где же это ты у нас взрывчатку нашёл?

Смеётся:

— Помалкивай себе, Гурыч, в бумажку. Эдакий камень бутовый только взрывчаткой и колыхнёшь. Сам видишь.

Ну, в общем, уговорили. Поставили нас в хвосте. Через час дали отправление.

Теперь такая картина. Эшелон этот на самый фронт идёт. Везут всякое такое, чего вам и знать не предусмотрено, не могу сказать. Словом, взрывчатым вагоном испугать их уж нельзя. Куда там! Ну, а направление наше идёт на станцию Синегубовка. А потом разъезд Степняки, Молибога, Синереченская, Рыжики, Бор-Горелый, Старые Дубы, Казявино, Козодоевка, Чибрики, Гать и, значит, ваш город, станция назначения. А фронт тут крученный. И в местности ещё кое-где бои. Так что ехать-то надо с оглядкой.

День едем — ничего, порядок. Правда, летали над нами какие-то, кружились. Одни говорят — наши, другие доказывают — немцы. Кто их разберёт! Бомбами не кидались. И у нас в эшелоне на двух площадках зенитки были — огонь не давали.

А местность кругом сильно разорённая. Недавно ещё тут немец был. Пожёл все, злодей, порушил, глядеть жалко. Пустынь горелая... И дорога на живую нитку пошита. Еле едем.

Прибыли мы под вечер на станцию Синереченскую. Пошёл я за кипятком, чайком решил согреться. Хлеба получил по рейсовым карточкам. Возвращаюсь обратно, к своему вагону. А вечер был дождливый, ветреный. Пробрало меня порядком. Иду, мечтаю про чаек. Влезаю на площадку, гляжу — сидит кто-то. Забился в угол, как веник.

— Это ещё что за прибавление семейства? Клоков, ты чего смотришь? Не видишь, постороннее лицо? Законопорядков не знаешь?

А это девчонка, годков этак двенадцати. Сидит, нахохлилась. На ней стёганка ватная, грязным полотенцем перепоясана вместо кушака. Из-под полушалка стриженные волосы

торчат. Худая, немытая. А глаза так и стригут.

— Дяденька, меня с того поезда ссадили. Можно? Мне только до Козодоевки доехать.

— Какие, — говорю, — такие Козолуповки, Козодоевки! Инструкции не знаешь? А ну, кыш-кыш, шевелись, ишь какие завелись! Скидывай отсюда свои мешки. Гляди, какая расторопная, пристроилась. Спекуляничать небось ездила? Наловчилась с малых лет, — говорю я ей.

А она:

— Я, — говорит, — не спекуляничать. Это я сухарей везу своим. Я их уж два года не видала. Вот уехала к тёте за Ростов, а сюда немцы вошли. У меня там, в Козодоевке, мама и братик Серёжа.

— И разговоров твоих слышать не хочу. Слезай!

Но тут Клоков мой подходит, отзывает меня в сторону и говорит:

— Слушай, Гурыч, а пускай себе едет. От неё ось не переломится, букса не сторит, поезд не расцепится. Намаялась девчонка.

— Да ты что, — говорю, — Алексей, соображение у тебя хоть на копейку осталось? Воинский эшелон, вагон чрезвычайный, а мы зайцев возить будем. Ишь ты, приютил, какой добренький!

Девчонка как вскочит! Стёганка ватная до колен ей, рукава завёрнуты. Взвалила мешки на плечо — и давай меня честковать.

— Ох, вредный ты до чего, — говорит, — дядька! И личность у тебя кривая, это тебя от злости перекосило. У тебя и злость, как у собаки кость, поперёк горла застряла!

И утюжит меня всякими такими словами. Эдакая дерзкая девчонка! Я говорю:

— Цыц сейчас же! Ты за кого себя понимаешь? Ты кто? Нуль цена тебе. Посмотри ты, какая дерзкая. Я тебя в пять раз старше да во сто раз умнее, а ты мне такие невыразимые слова. А корить меня, что личность немножко на одну сторону повело, так это довольно совестно. Это у меня ещё от крушения с той войны.

А она мешки собрала свои, котомочки навесила — да вдруг отвернувшись, в стенку вагона лбом ткнулась да как заревёт, заголосит, словно паровоз у закрытого семафора. На всю станцию слышать. А у меня никакого интереса нет лишнее внимание на наш вагон навлекать. Уж прицепили, едем, никто не проверяет, что за груз, и слава богу, молчи себе.

Куда там! Ревёт, не унимается. Да и голос такой пронзительный, что прямо-таки в оба уха забирается и в мозгах свербит, в самой серёдке. Да тут ещё Алексей мой, божий человек, опять заступается:

— Афанасий Гурыч, ладно, довезём её, никто и не заметит.

— Нечего меня в цари Ироды зачислять, — говорю. — Что мне, жалко, что ли, пусть едет. Только я знать ничего не знаю. В случае обнаружат — ты в ответственности, с тебя спрос.

Девчонка ко мне кидается:

— Можно, да? Позволили? — и начинает мешочки с плеч скидывать. — Спасибочко вам! Нет, вы тоже ничего.

А сперва, сначала я испугалась. Вот, думаю, наскочила на какого вредного... Дядя, а вас как звать?

— Ладно, ты много не разговаривай. «Дядя, дядя»!... Заладила. Я тебя в племянницы не приглашал.

— А как же вас тогда: дедушка?

— Какой же я дедушка? Ты гляди лучше. Ус-то у меня без малейшей седой искорки.

— Гурыч его звать, — Алексей говорит, — Гурыч.

— Фи! Смешно как...

— Чего тут смешного нашла? Обыкновенное имя, русское, родословное. От Гурия идёт. Смешно ей!... Вот сгоню тебя с вагона — погляжу тогда, какие тебе хиханьки будут. Давай лучше дело, отвязывай кружку, я тебе кипяточку налью. Вот ещё, — говорю, — зайцев я не возил, так зайчиха приبلудилась. На, пей, глотай. Да не давайся, ошпаришься, ты,

анчутка!

— Я, — обижается, — не Анчутка, меня Дашей звать. Маркелова моя фамилия.

— Ну, пей да помалкивай, Дарья-скипидарья, сердитый самовар! Горячая какая. Пар из ушей идёт.

Пьёт она чай, дуёт, обжигается. Потом кинулась рыться в котомочке своей: вытащила луковичку, пол-луковички Алексею дала и меня угостила:

— Кушайте, дядя Гурыч, кушайте! Это мы с тётей на огороде сами вырастили. Он всего полезней, лук. В нём витамин. От него польза всему здоровью. Вы посолите, у меня соль есть, хотите? Дядя Гурыч, а чего у вас в вагоне едет?

Алексей рот было открыл, но я тут на него прикрикнул.

— Клоков, — говорю, — прикрой рот обратно!... А ты уж рада, уши растопырила. Тебе, Дарья, этого знать не следует. Груз особой важности, под пломбой. Едешь — и скажи спасибо. Все знать ей надо. До чего востроносая девчонка!

Приехали мы на станцию Рыжики ночью. Зайчишка наш в мой тулуп завернулась, притулилась на площадке, затихла, спит. Только мы прибыли — завывли паровозы, зенитки застучали: тревога. Налетело на нас штук, считай, десять. В темноте-то не разберёшь, но, думаю, не меньше. Раскинули осветительные люстры по небу — и давай нас как миленьких бомбами молотить. Дашутка проснулась.

— Беги, — кричу я, — беги, — говорю, — вон за станцию, ложись в канаву за водокачкой.

А она не спешит.

— Я, — говорит, — лучше тут, с вами. А то мне там одной ещё страшнее будет.

Однако я её всё-таки прогнал в канаву. А сам с Лёшей остался при вагоне. Мало ли что... Загорится вдруг, а груз у меня такой — только искорку давай, запольхает. Горючий груз.

Вот, думаю, неприятность! Уж совсем близко до назначения, а такая вдруг проруха получается. А с Рыжиков как раз поворот на ту ветку идёт, куда нам направление дано. И нас уже отцепили от эшелона. Как тревога началась, эшелон сразу со станции отправили. А наш вагон стоит один на свободном пути, и немцы его ракетами освещают. И номер мне хорошо видать: «172-256», и срок возврата — январь на тот год. А-яй-яй, думаю, Афанасий Гурыч, не будет тебе возврата ни в том, ни в текущем году, ни через веки веков. Сейчас как чмокнут нас сверху, так и косточек тогда твоих не занумеровать.

Кругом меня бомбы рвутся, огонь брызжет, осколки в припляс скачут по путям. А я возле вагона бегаю, на людей натываясь, велю вагон наш с путей убрать поскорее. Говорю, так и так, мол, у меня особый груз, взрывчатый. А от меня все пуще шарахаются, Я уже за ними бегу, кричу:

— Стойте! Это я так сказал. Это я от себя для ускорения накинул. Никакой у меня не взрывчатый! У меня там...

Не успел я договорить, ахнуло громом около меня. Обдало всего огнём, ударило с маху оземь. Приоткрыл я глаза, светло вокруг, светлым-светло. И гляжу: горит наш вагон. Пропал груз!

Кинулся я к вагону. По дороге меня ещё раз в воздухе перевернуло. Спасибо ещё, что не на рельсы, а в мягкий грунт угодил. Поднялся я, подскочил к вагону, а там уже Алексей мой действует. В руках у него огнетушитель шипит, а ногами он огонь топчет. Кинулся и я пламя топтать. На мне уже спецовка горит, но я сам себя не помню — груз надо спасать.

И что же вы думаете? Отстояли вагон! Хорошо ещё, не много загорелось. Один бок вагона маленько пострадал, дверь вырвало, внутри кое-чего попало, но так все целое, ехать можно. Только одно плохо: видят теперь все наш особый груз — обнаружен на весь белый свет. Придётся везти на глазах у публики. Потому что дыра выгорела порядочная.

Отбили налёт. Дашутку мы с Алёшей еле отыскивали. Забилась со страху в канаву. Эх ты, с вечера молодёжь, а утром не найдёшь!

— Цела? — спрашиваю.

— А что мне сделается? — отвечает. — Только ноги промочила в канаве.

Садится на подножку, разувается, снимает свои ботинки — у неё такие прегромадные были, лыжные, американские, откуда уж, не знаю — и выливает из них воду, чуть не по ведру из каждого.

— Залезай, — говорю, — обратно, заворачивайся в кожух, обсыхай. Можешь в самый вагон забираться. Теперь у нас вход и выход свободный. Двери-то вон вывернуло. Прощай все наши замки, пломбы!

Влезла она в вагон.

— Ой, — визжит, — тут книжки какие-то!

— Ну и что? — говорю. — К чему визг? Книжек не видала?

Я не помню, вам-то я сказывал вначале иль тоже не сказал, что вагон-то наш учебниками гружён был? Ну, буквари там, арифметики, географии, задачники, примеры всякие.

Этот вагон народный комиссар всеобщего образования товарищ Потемкин из Москвы послал в освобождённые районы, откуда немцев повытурили. Дети тут два года не учились, немец все книги пожёг. Да чего вам говорить, вы это лучше меня знаете. Вот сразу и послали из Москвы освобождённым ребятам в подарок восемьдесят пять тысяч учебников.

Ну, я так считал, что говорить, какой у меня груз, не стоит. Тут эшелоны со снарядами, составы с танками идут, воинские поезда следуют, фронтовые маршруты, а я с букварями полезу. Неуместно. Груз чересчур деликатный. Какой-нибудь дурак ещё обидится, и может скандал произойти.

А теперь уж скрывать как же? Все наружу, всем насквозь видно.

— Плохо дело, — говорю, — Клоков! Теперь нас куда-нибудь отставят на тридесятый путь, и ожидай там своего череду.

А на воле уже светает. Пошёл я к начальнику станции. Тот меня к военному коменданту направил. Так, мол, и так, объясняю я коменданту. Имею назначение от самого главного комиссара всенародного обучения и просвещения, дети освобождённые ждут, груз крайней важности, такой груз надо бы по зелёной улице пустить, как на дороге говорят, чтобы везде зелёный семафор был, путь открытый. Ставьте нас в первую очередь.

А комендант смотрит на меня красными глазами, видно, уже сам ночи три не спал, сморился человек. И, конечно, сперва слушать не хочет:

— Что такое, тут у меня без вас пробка, четвёртые сутки расшить не можем. Всё забито до крайности. Сейчас срочный эшелон к фронту следует, а вы тут с вашими арифметиками да грамматиками! Подождут ваши дважды два четыре. Ничего им не сделается. А то завтра прибудет ещё вагон с какими-нибудь сосками, слюнявками да распашонками, и тоже изволь гнать их без очереди?

Я уж не знаю, как мне на него воздействовать. Только вдруг слышу сзади голос такой солидный:

— Товарищ комендант, боюсь, что дети не по вашему графику растут. Если вы ничего не имеете против, я прицеплю этот вагон к своему составу.

Поворачивается и уходит. Посочувствовал, а сам на меня и не посмотрел даже. Дескать, ничего особенного не сказал. Вот золотой человек!

Побежали мы на пути. И слышу я издали крик возле вагона. Гляжу, стоит какой-то малый, весь в масле, смазчик должно быть, а Дашутка наша вцепилась в него и из рук книжку рвёт. В чём дело?

Смазчик этот говорит:

— Да отцепись ты, спецовку порвёшь! Брысь! Вот жадная!... Папаша, — это уж он мне объясняет, — у тебя я там вижу брошюрки какие-то. Неужто жалко одну на завёртку дать? Покурить смерть как охота!

— Слушай, — говорю я ему. — Это не простые книжки. Это научные. Можешь это понять? Из самой Москвы везём. А ты хочешь на дым пустить. Не совестно тебе?

Он книжку отдал обратно, поглядел, вздохнул. Ну, Алёша ему бумажку дал всё-таки.

Обёртка нашлась у нас рваная.

Ну хорошо. Прицепили нас к воинскому составу. Двинулись мы по направлению к фронту. Огляделся я, стал свои неты считать, что сгорело, что порвало, чтобы акт составить. Смотрю, Дарья моя в вагоне совсем уже обвыкла, прибралась. К фортке бумажные занавески пристроила, венчик, хитро так вырезанный узорами: кресты, звёздочки, цветочки. И картинки хлебом на стенку приклеила. Посмотрел я на эти картинки, на занавесочки и обомлел...

— Погоди, — говорю, — это откуда бумагу взяла? Где картинки добыла?

— А это я, — говорит, — тут подобрала, зря валялись. Гляжу, это она из учебников странички повыдергала.

Я сперва было бранить её, а потом разобрался — ничего. Это она из тех книжек взяла, которые всё равно при бомбёжке порвало.

— Дядя Гурыч, вы не серчайте, — говорит. — Зато видите, как у нас теперь уютненько! Прямо как у тёти или дома у нас, в Козодоевке. Вы пока стоять там будете, в гости к нам приходите. Ох, мы вас с мамой угостим как, напечём всего разного! Кулеш по-казацки сделаем, со шпигом, — я везу. А ноги, дядя Гурыч, обтирать надо. Вон вы сколько грязюки навозили. За вами не наубираешься. Лёша небось сам ноги вытер о солому, а вы кругом наследили.

Что ж попишешь, хозяйку слушаться надо. Пошёл на солому, потоптался в ней, ровно курица в сенах.

Едем мы, значит, так, едем. От нечего делать я учебники почитывать стал, которые из упаковки взрывом повывбросило. Задачи интересные попадаются. Особенно одна понравилась мне, девятьсот пятый номер. По нашей специальности, железнодорожная задача, на все четыре действия, с дробями. Я её даже в точности запомнил: от Москвы до Владивостока, сказано, девять тысяч двести восемьдесят пять километров. Из этих городов следуют встречным направлением, стало быть, два поезда. Один прошёл столько-то, а другой от этого какую-то часть, и вот, значит, надо сосчитать, много ли между ними ещё осталось до скрещения. Интересная задачка. Стал я её было решать, да образование у меня ниже среднего, завязли мои поезда в сибирской тайге и ни взад ни вперёд. А Дашутка, хитрая голова, мигом, в два счёта решила. Потом стала меня ещё по таблице умножения гонять, вразбивку спрашивать. Я даже запыхался, пот прошиб.

— Ну, — говорю, — Дарья, этак я с тобой пока до места назначения доберусь, так полное среднее образование получу.

Едем мы туго. Стоим часто. Дорога фронтовая, перегруженная. Пути повреждены. А Дашутке не терпится скорее домой попасть. По ночам она не спит, чуть остановка — машиниста ругает, что тихо едет. Соскучилась. Да и верно. При солнце тепло, а при матери добро. А она два года матери не видала. Извелась девчонка, и смотреть на неё жалко. Тоненькая, бледная. Как запоёт вечером: «Есть кусточек среди поля, одинёшенек стоит...», да подхватит с ней Лёша, так и мне всю душу занозят. Пробовал я было подтягивать, да у меня слух неспособен с детства. Смеются они только надо мной. Ну, я замолчу, не обижаюсь. Выйду с фонарём на тёмную станцию, потолкую с главным. А потом погудит опять в темноте наш паровик, пойдёт перезвон по буферам. Фыркнет, задышит часто паровоз, разбежится под уклон, и пойдут колеса таблицу умножения твердить. Так и слышится мне: «Семью семь — сорок девять! Семью семь — сорок девять!... Сорок девять, сорок девять... семью семь...»

Прибыли мы в Бор-Горелый. Оказалось, немцы впереди мост взорвали. Пришлось ехать вкруговую, через Иордановку, Валоватую. Разговоры на станциях тревожные. Где-то, говорят, немецкие танки отрезанные бродят.

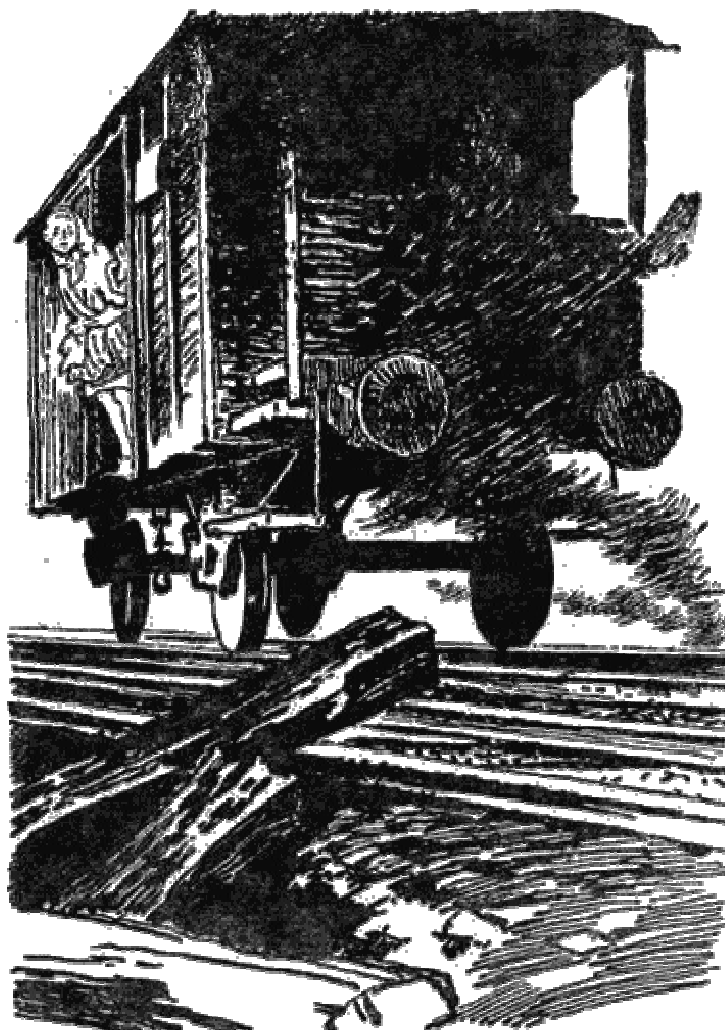
Долго нас не принимали на станцию Стрекоchi. Наконец пустили. Только вошли мы за стрелку, вдруг пальба. Кругом крик поднялся, пулемёты где-то застрекотали. Я сразу к Дарье:

— Ложись вот тут, за учебники! Ни одна пуля не прошибёт, лежи.

Пораскидал я книжки кипами, сделал ей вроде укрытия.

— Сиди, — говорю, — и нишкни.

А мы с Клоковым выскочили из вагона. Над нами пули так и чиркают: тью-тью!... А по степи прямо к станции, глядим, танки заходят, и на них чёрные кресты. Вот это приехали! Попали!



...высовывается из двери вагонной Дашутка...

Бойцы с нашего эшелона рассыпались все цепью, залегли вдоль полотна, отстреливаются. Кто ручным пулемётом действует, кто из противотанкового ружья бьёт, кто гранату приготовил. Мы с Лёшей подползли со своими винтовками, попросились, чтобы нас приняли. Указали нам наши места.

Лежим, стреляем со всеми. Задымил один немецкий танк. Второй загорелся. Это наши зенитчики с площадки прямой наводкой по немцам ударили. Третий танк в аккурат на нас повернул. Вдруг ка-ак грохнет за нами! Оглянулись, видим: один вагон в нашем составе, гружённый боеснарядами, в щепки разнесло. А с паровоза сигналы дают, что сейчас тронутся. Эшелон уйти со станции спешит.

Кинулись бойцы по вагонам. Рванул паровоз, заскрежетал весь состав, и пошёл поезд за стрелку. А наш вагон как был последним в хвосте, так и остался на месте. Взрывом-то перед нами вагон выбило, разорвало хвост поезду, мы и оказались отцепленные.

— Окончательно пропали мы, Алёша, — говорю я. — Давай хоть вагон взорвём, чтобы немцам груз не сдавать.

У нас гранаты были. Я отполз подале, уже было размахнулся, да вдруг вспомнил про Дашутку нашу. Ведь она в вагоне осталась. Ах ты назола!

А из немецкого танка уже выскочили солдаты, рассыпались, бегут к нам, палят на ходу. Клоков подполз ко мне и говорит:

— Гурыч, давай скорее вытаскивай Дашку и кончай вагон. На тебе ещё одну гранату для верности. А я их пока тут задержу.

Сам пристроился за насыпью, винтовку на рельсы положил и бьёт немцев на выбор. А я ползком, ползком, посунулся к вагону, нырнул под него, пролез, поднялся с другой стороны и только влез на площадку, вижу: от семафора, из-за поворота, броневик по рельсам катит, вроде автодрезины. Как ударит с ходу, так только воздух у нас над головами забуравило. Бьёт на всём ходу бронемашина по немцам, спешит на станцию. А на путях обломки горят, того гляди, и наш вагон займётся.

И при такой опасности высовывается из двери вагонной Дашутка наша, кубарем скатывается вниз и бежит по шпалам прямо к броневiku. Пули вокруг неё чиркают об рельсы, щёлкают, того и гляди, зацепят.

— Дашка, дура, ложись сейчас же! Куда полезла?...

А она подбегает прямёхонько к броневiku. Оттуда из люка командир показался,

— Дядя, — кричит Даша, — дяденька, зацепляйте нас скорее, везите! А то мы сейчас пропадём совсем.

Я тоже на карачках подобрался туда. Встать боюсь — очень уж много надо мной этих свинцовых пчёл летает. Стою на четвереньках, вернее будет сказать, на трёх точках: правую-то руку к шапке приложил, честь честью, всё-таки ведь с командиром говорю.

— Товарищ дорогой, разреши обратиться?... Сделай милость, подсоби. Правительственный груз везу, чрезвычайного назначения, от самого народного комиссара. Вызволяйте! Хоть девчонку примите!

— погоди! Что за груз такой? Быстро!

— Да, — говорю, — извиняюсь, книжки везём. Очень интересные.

— Хватит! Ясно. Вас и требуется нам. Меня командир с разъезда за вами отрядил. Живо прыгай в вагон к арифметикам своим, — приказывает командир. — Это чья девчонка? Твоя! Что ж она у тебя без надзора под пулями бегает? Ну, быстро!

Выскакивают из бронемашины двое, скидывают с пути обломки. Броневик подают к моему вагону. Орудие в башне туда-сюда дуло водит, палит, аккуратненько немцам порции выдаёт. А тем временем бойцы толстой цепью прикручивают мой вагон к своему крюку.

— Живо давай, быстро! — приказывает командир, а голос у него громче пушки. — Поворачивайся, Ткаченко, не возись!

А я кричу из-под вагона:

— Клоков! Алёша! Давай сюда скорее. Отправляемся!

Не отвечает Клоков.

Побежал я, пригибаясь, к тому месту, где Алёша за насыпью отстреливался. Подбежал туда да и сам повалился на землю. Лежит мой Алексей, головой уткнулся в рельс, а с рельса на шпалу кровь сочится...

— Алёша, Алёша! — кричу. — Ты что, Алёша? Это я, слышишь? Гурыч это.

Командир из бронемашины зовёт:

— Эй, кондуктор, как тебя там... Долго ты будешь? Я тебя ждать не собираюсь.

Я кричу:

— Товарищ командир! Помощника моего ранило, напарника... Подсобите, — прошу.

Подскочили два бойца, взяли Алёшу на руки, а я ему голову пробитую поддерживаю. Подняли мы его в наш вагон, влезли и сами с Дашуткой. Загремела машина, тронулась, посыпались у нас учебники в вагоне, и пошёл наш во всём мире невиданный поезд со станции. Впереди броневик, а за ним наш вагон.

Много я в своей жизни поездил, всю Россию проколесил, а таким манером ещё сроду не ездил. Не приходилось. Гремит впереди бронемашина, несёмся мы за ней. Прыгает вагон на стыках, шатает его из стороны в сторону, вот-вот с откоса вниз грохнется...

Но мне не до того. Я с Алёшей бьюсь. Мне бойцы свой индивидуальный пакет дали, с

марлей там, с ватой. Дашутка мне подсобляет, а у самой зубы стучат, хоть она их стиснуть старается и всё норовит отвернуться, чтобы на кровь Алешину не глядеть.

— Ты уж поддержишь, Дашенька, — говорю, — не обмирай. Раз попали мы с тобой на войну, так тут «агу — не могу» позабудь. Не маленькая.

— Жалко мне очень, — говорит. — Вдруг если опасно!... А? Дядя Гурыч?...

Забинтовали мы Алёше голову, как умели. Я ему подложил книжки, чтобы повыше было, тулуп подстелил. Молчит Алёша. Только, когда тряхнёт вагон на стыке, стонет тихонечко. И как это его угораздило под пулю попасть, вот ведь горе какое!

— Клоков! Алёшка!... — говорю ему я в самое ухо. — Довольно тебе, очухивайся. Это я, Гурыч. Ну как, легче тебе?

Открыл он глаза, посмотрел на меня и легонько губами двинул.

— Гурыч... Когда доедешь... скажи ребятам, как мы им везли...

— Да брось ты, Клоков! Мы с тобой, Алёша, вместе ещё обучаться станем.

Не помню, чего уж я ему тогда говорил такое, но сам-то я вижу, что дело плохо. Совсем никуда дело. Не доехать Алексею. Тень уж ему на лицо заходит.

— Клоков, — говорю, — ты поддержишь, милый! Как же я без тебя-то, один? Ты это пойми. Быть этого не может. Ты слушай, Алёша... А, Алёша?

Захолодела его рука в моей. Приложился я ухом к груди, послушал сердце, шапку снял. Только колеса под полом стучат и отдаются в тихой груди Алешиной. Конеч. Отмаялся. А Даша взглянула на меня и поняла все сразу. Отошла в дальний угол вагона, села там комочком, подхватила руками коленки и, слышу я, шепчет:

— Хороший был, всех лучше. Это он меня первый пустил.

Да я и сам думаю, несправедливо вышло. Помоложе он меня, жить бы ему да поживать. А вот пуля его выбрала.

— Ну, что же поделаешь, Дашенька, не всем помирать в очередь. Так уж вышло. А нам с тобой, видно, ещё ехать положено.

Хотел ей ещё что-то сказать, да и слов не нашёл. Тут с броневика кричат мне:

— Эй, кондуктор, тормози!

Я выскочил на площадку, стал прикручивать тормоза, чтобы вагон не насел на ходу на бронедрезину. Загремели стрелки под колёсами, влетели мы на станцию. А кругом люди сбегаются, бойцы с эшелона кричат, дивятся.

— Вот это да! Вот это доставлено, — говорят, — высшей скоростью!

Ну, я поблагодарил командира, только объявил, что не до радости мне, товарищ убит. Побежали за врачом, да уж поздно. Ни к чему врач...

Похоронили мы Алёшу Клокова тут же возле станции Старые Дубы, за разбитой водокачкой. Я доску отесал, двумя камнями на могиле укрепил. А на доске написали так:

«Клоков Алексей Петрович. Год рождения 1912. Боец железнодорожного транспорта. Пал смертью храбрых при доставке особого груза в освобождённые районы. Дети, школьники, не забывают его. Он вёз вам книжки из Москвы».

Поставили нас снова в хвост эшелона. Едем вдвоём с Дашуткой. Молчим, Все про Алёшу думаем. За что ни возьмусь — все его не хватает. Какой разговор ни начнём, обязательно Алёшей кончим. И не верится мне никак, что нет уже его совсем. Все думается, сейчас на полустанке вскочит, чего в газетах новенького, расскажет, Дашку потормошит...

Через два дня к вечеру прибыли мы в Казявино.

Станция забита составами. С фронта идут, гружённые всякой железной рванью: танки на них немецкие «тигры», пушки «фердинанды», К фронту составы следуют, военного назначения. И всякий товар гонят для освобождённых районов, где народ изголодался. Тут и хлеб, и цистерны, и тёс. Отсюда наш эшелон к фронту поворачивал.

Попрощались мы с начальником эшелона за руку, пожелали друг другу счастливого пути. Отцепили нас, поставили на запасный путь, ушёл эшелон. Опять я бегаю по станции, хлопочу, требую срочной отправки. А уж ночь опустилась, и дождь идёт. На станции хоть глаз выколи. Полное затемнение. Да немцы ещё недавно тут находивались перед уходом.

Кругом рельсы вывороченные валяются, шпалы расколотые, щебень, железные балки, вагонные скаты. И днём-то еле пройдёшь. А тут ни зги не видать. Бегаю я по путям, натываюсь на все. А фонарь у меня, как на грех, ветром задуло.

И вдруг мне говорят у блокпоста:

— Идите скорей, ваш вагон давно прицеплен, отправляют.

Побежал я обратно на пути. Нет нигде моего вагона. Не могу найти. Сюда бегу, туда кидаюсь. А в темноте разобрать ничего невозможно. Ношусь я как сумасшедший по станции, чуть не плачу. Спрашиваю всех: «Не видали вагон номер „172-256“, с одного боку горелый?» Нет, никто не видал. Да и разве разглядишь тут что-нибудь, в эдакой темноте! А дождь льёт все пуще и пуще. Вымок я до самых внутренностей. Дрожу весь как осина. Забежал я куда-то на пути, где уж и народу нет, спросить некого. Только ветер в темноте рваным железом погромыживает. Слышу, состав какой-то пошёл, и как раз в ту сторону, куда и нам отправляться. Бегу я между составами, а слева и справа, навстречу и вдогонку колеса постукивают. Стой, погоди! Вот он, мой вагон, обгорелый сбоку, и площадка тормозная. Обогнал меня. Еле уцепился на ходу за поручни, навалился на площадку, кое-как влез. Ну слава тебе господи!

— Дарья! — кричу я в вагон. — Жива, здорова? Заждалась, чай... Ай, Дашутка! Ты что, заснула, что ли?

Не отвечает. И тихо в вагоне, нет никого, пусто. Упало у меня сердце. Ах, Дашка ты, Дашка! Вот и понадейся на тебя. А обещала сторожить. Заждалась, должно быть, бедняжка, пошла искать меня да и заблудилась. Где уж тут девчонке найти, когда я и сам-то целый час плутал! Жалко мне стало девчонку, да что же делать? Где же её теперь искать? Ясно, отстала Дашка. А меня всего трясёт. Промок очень. И до того пальцы застыли — фонаря зажечь не могу.

Решил я сперва согреться. Пошарил в углу: стояла там у меня припасённая заветная поллитровочка. Еле нашёл — упала, откатилась к другой стенке. Выбил я пробочку, крикнул, хлебнул — полезли у меня глаза под самые брови. Батюшки! Да что это такое? Всякого я в жизни пробовал, самого крепкого... Маляры меня раз было политугой угощали — ничего... А другой раз музей эвакуировали, заоченел я на ветру, так студенты меня научным спиртом из-под ящерицы саламандры потчевали. Но такого зверства у меня ещё во рту в жизни не было. Вроде как зажигательную бомбу проглотил. Сел я на пол, а потом повалился совсем и лежу, раскрывши рот, словно селёдка на блюде. И как люди дышат, забыл, и голоса нет. Только хлюпаю, будто рваный сапог. А кругом во внутренности у меня все карболкой шибает. Отдышался чуток, зажёл фонарь, гляжу — милые мои! Да я не в свой вагон залез... Вагон тоже повреждённый, видать, при бомбёжке, но только кругом бутылки какие-то стоят, аптекой воняет.

Тут я сообразил: это я в вагон с медикаментами влез. Лекарства, медикаменты тоже, видно, из Москвы послали для больниц в освобождённые районы. А я в темноте обмишурился, карболки хватил. В общем, полную себе внутреннюю дезинфекцию произвёл — и чувствую, ребятки, эти самые микробы из меня давай бог ноги. Еле отчихался. Потом чих прошёл, икота взяла. Ну, слава богу, думаю, хорошо, хоть карболка попала, а то мог ещё йоду напиться.

Так. Ну, допустим, полечился, а что же дальше делать? Где мне мой вагон искать теперь, где Дарья моя, анчутка несчастная? Хотел я было соскочить на ходу, да поезд разогнался под уклон. И что толку соскакивать на перегоне? Что я один в поле буду делать, да ещё ночью... Вот комиссия отца Денисия, история кума Григория!

Замечаю, однако, что тормозит поезд, видно, к станции подъезжаем. Как стрелку проехали, я, не дожидаясь остановки, соскочил.

Тихо кругом. Составы стоят. Темно. Людей не слышно. Потом рожок где-то запел, паровоз закричал, буфера задлинькали. Пролез я под вагонами, побежал туда. Отправляют какой-то состав.

— Что за поезд? — спрашиваю. Из темноты сверху отвечают:

— Санитарная летучка.

Это раненых с фронта везут в госпиталь. И идёт состав в сторону той станции, где я свой вагон потерял. Стал я проситься в теплушку — не пускают. Говорят, переполнено все, места нет. Я всё-таки вскочил на ходу, а мне велят обратно сойти, чуть не спихивают.

— Не положено, — говорят, — в санитарном поезде посторонних возить.

— Дружочки, — говорю, — уважаемые, я же не посторонний! Я от своего вагона отбился. Сам по этой научной части.

Слышу, в темноте посопел кто-то, словно приняхался, да и говорит:

— Шут его знает. В темноте не видать. Но запах, верно, от него медицинский. Ладно, пусть до станции доедет.

Так я и попал снова на ту же станцию. А тут уж немножко светать начало. Бегаю я опять по путям, кричу:

— Дашутка, Дарьюшка, милая! Аукнись, подай голос! И вдруг слышу откуда-то с другого пути:

— Тута я, тута, дядя Гурыч!

Кинулся я в ту сторону, посветил фонарём... Вот он, мой чрезвычайный, особого назначения! Дашка как бросится мне на шею прямо сверху! Я даже на землю сел. А потом вдруг как начала меня обоими кулаками барабанить — и в грудь и по шапке.

— Да ты обалдела, что ли?

Она в рёв.

— Да, вы зачем меня одну бросили! Темно, боязно. А потом самолёты прилетали, две бомбы кинули. А вас нет и нет... Я думала, уж вас убило, как Лёшу... Только я, дядя Гурыч, никуда от вагона не отлучалась. И когда налёт был, все побежали, а я тут сторожила, как вы наказывали. Всю ночь. Только смерзла шибко.

И у самой зубы словно дважды два долбят.

Ну, проехали мы ещё день и прибыли наконец на эту самую Козодоевку. Дашутка моя волосы расчесала, умылась из чайника, вещички свои собрала и подаёт мне руку, вроде как взрослая дамочка: пальцы лодочкой, аккуратно.

— Дядя Гурыч, премногое вам спасибо, что довезли. Очень вам благодарна с мамой, на всю жизнь. Если вам отлучаться от вагона нельзя, так я сама сейчас сбегая до дому, а потом с мамой приду к вам, кушать принесу. И белье соберите мне, мы вам сразу с мамой тут же постираем. А то вы весь заносились совсем. Счастливо вам пока оставаться!

И пошла. Взвалила мешки свои, котомочки, идёт, сама тоненькая, стёганка до колен, башмаки полведерные по грязи плюхают. А я гляжу вслед, думаю: «Вот доставил девчонку на место. Теперь у них, чай, радости будет!... А ты, Афанасий Гурыч, следуй по своему направлению. Один теперь... Своих детишек завести некогда было, всю жизнь на пути провёл, ну хоть чужих ребят книжками порадуя. Всё-таки будет с тебя какой-нибудь толк».

Скрутил я сигарку, за кипятком сходил к паровозу, прикурил у машиниста. Прошёл эдак часок, другой. Новый паровоз дали, ждём отправления. А Дашутки не видно. «Конечно, ей уж теперь не до меня», — думаю,

И тут вижу: между путей бежит, спотыкается Дашка моя и тянет за руку высокую женщину. Увидела меня Дашка, вырвала руку, побежала, на самой лица нет. Бросилась ко мне, ткнулась головой в плечо. Выговорить ничего не может, только бьётся вся, колотится головёнкой своей о меня и одно твердит: «Ой, дядя Гурыч... дяденька!...» Ничего не могу разобрать. Гляжу на гражданку, которая с ней. Подошла она ближе, сама слезы глотает, шепнула на ухо, и оступилось во мне сердце. Вон она, какая беда! Некуда было спешить девчонке. Несчастное дело получилось...

— Как же это так? — спрашиваю. — А она-то дожидаться не могла, торопилась все...

— Это, — отвечает, — немцы уж перед самым уходом ворвались к ним и вот что натворили. Ну, Даша, успокойся. Не надо, милая... Что же делать, девочка! Дашенька, родная, не надо...

— А вы сами кто ей будете? — спрашиваю.

— Я учительница. Даша Маркелова у меня в классе была. Хорошо успевала. А вам, — говорит, — спасибо, дорогой, что довезли девочку.

Потрепал я Дашу по голове, затихла она немножко.

— Эх ты, горе моё! — говорю. — Как же ты теперь тут одна будешь, неудобная?... Давай, Даша, я тебя на обратном заезде, как порожняк будем гнать, к тётке возьму. Я бы тебя и к себе в дочки забрал, да ведь жизнь у меня перегонная, на колёсах моя жизнь, дорожный я житель. А тебе требуется воспитание.

Учительница слезы вытерла, посмотрела на меня и говорит:

— Милый вы, славный человек... Как вас зовут? Афанасий Гурыч? Так вот, Афанасий Гурыч, за Дашу не беспокойтесь. Ей тут хорошо будет. У нас детдом открывается. Пока Даша у меня поживёт. Верно, девочка? А потом я её в детдом определяю. С её тётей мы спишемся.

Засмотрелась учительница в дверь нашего вагона, и загорелись у неё вдруг глаза, бросилась она к книжкам.

— Боже мой, — говорит, — книжки... учебники... Настоящие учебники! Два года не видела. Господи! Смотрите, буквари, задачки, весь комплект. Господи, не верится! Если б только могли вы хоть чуточку нам оставить — Даше в приданое и ребятам моим... Вот бы мы вам, Афанасий Гурыч, милый, спасибо сказали преогромное! Вот бы мы вас век помнили!...

Роемся она в книжках, схватит какую, прочтёт на крышке: «Грамматика» — и к груди прижмёт.

Гляжу, совсем она ещё и сама-то молоденькая. Только состарило её раньше срока. Тоже, видать, натерпелась. А горе одного только рака красит.

— Хотя, — говорю, — у меня станция назначения и получатель значатся иные, ничего... Выбирайте, что вам требуется. Только, товарищ учительница, попрошу мне расписочку для отчётности.

Ну, отобрала она малую стопочку. Расписку черкнула.

Тут запели, затрезвонили по всему составу буфера, тормоза скрипнули, паровоз голос подал. Отправление нам.

Нагнулся я, поцеловал на прощанье Дашу в макушку самую, прокашлялся, хотел чего-то ещё сказать, да только рукой махнул и полез на площадку.

Пошёл состав,

Даша сначала шла всё быстрее и быстрее возле подножки, рукой за неё держалась, потом отпустила, побежала около вагона, отставать стала, все смотрит на меня. А учительница осталась на месте, одной рукой учебники к себе прижала, а другой издала машет мне...

Ну, вот и всё, ребятки.

А теперь я прибыл к вам, и вот вы сейчас получаете эти самые учебники, которые вам послал из Москвы товарищ народный комиссар просвещения. Вот сейчас их вам раздавать станут. Извиняюсь, если маленько груз не в полной сохранности дошёл. Видите, тут подпалило немножко. Вот осколком пробито. А здесь от пули след. Это когда нас на станции обстреливали. А вот тут две арифметики чуток кровью повело. Это на них Алёша лежал. Клоков.

Берите, ребята, книжки себе. Для вас и везли мы их. Когда учиться по ним станете, Алёшу Клокова вспоминайте и могилку его возле станции Старые Дубы...

Невысокий криволицый человек закончил свой рассказ, отёр платком длинные усы и, скромно отойдя от стола, надел выцветшую фуражку с малиновым кантом. В большом школьном зале с полувыгоревшим потолком, с выбитыми и заколоченными фанерой окнами стояла тишина. А потом по знаку директора школьники один за другим стали подходить к столу, где были сложены присланные из Москвы учебники. Молчаливые и серьёзные, бережно принимали ребята в свои руки книжки, страницы которых были тронуты огнём, пулями и кровью...

